



9 февраля 1983 года исполняется двести лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783—1852). Творчество выдающегося поэта первой половины прошлого столетия оставило заметный след в истории русской литературы. «...Необъятно велико значение этого поэта для русской поэзии и литературы!.. Он ввел в русскую поэзию романтизм», — писал о Жуковском В. Г. Белинский. Отмечая юбилей В. А. Жуковского, «Литературная Россия» уже печатала материалы о жизни и творчестве поэта. В этом номере публикуются эссе Е. Осетрова о роли и месте Жуковского в отечественной литературе, в духовной жизни читателей и заметки А. Корнеева о взаимоотношениях поэта с декабристами.

**У** КАЖДОГО из нас два великих собеседника — Жизнь и Книга. Меняется действительность, происходят встречи с людьми, проходят перед глазами старые и только что родившиеся на свет книги, к ним — вечным собеседникам — возвращаемся вновь и вновь. В душе всегда живет сладостная мечта — выберу свободное время и перечитаю Гомера, Данте, «Евгения Онегина», «Войну и мир» или, к примеру, лесковских «Соборян»...

К Василию Жуковскому — его стихам, переводам, переписке, к его жизнеописанию — возвращаюсь и возвращаюсь едва ли не на протяжении всей жизни. От младенчества до седин. Более того, автор «Певца во стане русских воинов», вечный «мечтательный зритель» принадлежит к числу тех, с которыми — пусть и со значительными перерывами — ведешь мысленный диалог — споришь, соглашаешься, возражаешь, сочувствуешь. У Жуковского учились не только его современники, среди которых мы видим Пушкина и Лермонтова. Его ценили Некрасов и Тютчев. Одну из своих поэм Валерий Брюсов посвятил «благоговейно» памяти Жуковского.

В наши дни существует Жуковский известный и неизвестный. Впереди — еще многое. В литературе пробудилось внимание к углубленному душевному состоянию человека. А это, несомненно, приведет к желанию подуматься над страницами Жуковского, над его вечными странниками.

\*\*\*

Воеет вьюга в печной трубе, на заливных волжских лугах, покрытых снегом, с вечера зги не видно. Зато дома весело трещат дрова в лежанке, плавают от огня свечки на елке, украшенной бахромой, и Снегурочка, увенчанная звездой в волосах, читает то, что давно знают все окружающие:

Раз в крещенский вечерок  
Девушки гадали:  
За порота башмачок,  
Сняв с ноги, бросали...

Стихи благодаря своей искренности, мягкости настроения, точности словесной отделки распространились и стали таким же постоянным народным обиходом, как пушкинские сказки или воспроизведения с картин Третьяковской галереи. Все ли мы помним, что «Кольцо души-девицы я в море уронил» — песню пели и поют — принадлежит Жуковскому? «Светлану» Жуковского знали у нас в Костроме все — и стар, и млад. Стоило мне в детстве закрыть глаза, как память услужливо подсказывала слова, которые я никогда и не заучивал, — они всегда существовали, как многолетние липы во дворе, как беспредельная волжская покрытая снегом гладь:

Тускло светится луна  
В сумраке тумана —  
Молчалива и грустна  
Милая Светлана.

Я прекрасно представлял себе, как Светлана смотрит в «чистое зеркало стекла» — обычай гадать сохранялся в нашей северной провинции во всей своей загадочной поэтической прелести до довоенной поры, как и хоровады, посиделки, венки, пускаемые по воде, игра в лапту и прочее.

Пространство стихов Жуковского вмещало в себя многое. Знал я, что есть поэты без сокрытия и есть поэты тайны, которую жутко и занимательно разгадывать. Жуковский, разумеется, принадлежал к последним. Его Светлану я представлял довольно хорошо, но не знал, что жизнь уготовила мне еще не одну встречу с героиней поэтических грез Василия Жуковского.

В послевоенные годы мой друг Николай Рыленков, предстатель «смоленской школы», написал большой прозаический опус — повесть «На старой Смоленской дороге»; Рыленков так глубоко погрузился в материал, связанный с эпохой 1812 года, что постоянно говорил о людях того времени как о добрых знакомых — они приковывали его к себе, манили и не отпускали, тревожа и в часы досуга. Здесь мне хочется вспомнить воспоминание Жуковского, обращенное к Тургеневу (1813 год):

Где время то, когда по вечерам  
В веселый круг нас музы собирали?

Однажды Николай Иванович Рыленков, читая мне по памяти балладу Жуковского, посвященную Александре Андреевне Воейковой («Моих стихов желала ты...»), признался, что всю жизнь мечтает написать роман о Жуковском. В будущем произведении ему виделась необыкновенно богатая внутренняя жизнь поэта, неотрывная от культа Светланы, чьим певцом Жуковский, автор «Даенадцати спящих дев», ощущал себя многие годы. Помнится, как обрадовался Рыленков, когда я показал ему две книги из своей библиотеки: «Историю одной жизни. А. А. Воейкова — «Светлана» и так называемый «Уткинский сборник», состоящий из писем В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. Мгновенно вспомнилось:

Что жизнь, когда в ней нет очарованья?  
Блаженство знать, к нему лететь душой,  
Но пропасть зреть меж ним и меж собой...

Об «Уткинском сборнике» Рыленков знал давно, а вот первая — «История одной жизни», содержащая своего рода диалог поэта со Светланой, в котором звучат невымышленные голоса, была для него своего рода новинкой. Мы стали попеременно листать книгу, читая из нее отрывки, и перед мысленным взором возник прекрасный и возвышенный роман в письмах, ибо прекрасны и возвышенны были его неповторимые герои. Время Жуковского — эпоха эпистол. Культуру переписки еще Карамзин, завещав ее не только собственному семейству, но и всему обществу, вознес на небывалую высоту. Перечитайте с этим подходом «Пушкин в письмах Карамзинных» — одну из самых поразительных книг, рожденных эпохой письма, промелькнувшую в шестидесяти годах. Духовная энергия карамзинских «Писем русского путешественника» не иссякала чуть не столетие, да и позднее давала о себе

своего издавна полушута называли «поэтическим дядькой чертей и ведьм».

О других переводах Жуковского также можно сказать — подлинник. «Лесной царь» — гениальный подлинник. Это стихотворение-баллада вообрало в себя много поэтического света эпохи.

В нем и ныне мы слышим ритм скачущего коня, видим разнообразные лесные краски («Он в темной короне, с густой бородой»). И от первой строки (сколько бы раз ни читали!) появляется вначале робкая надежда, что младенец будет все-таки спасен. И каждый раз удар молнии пронзает сердце, когда звучит детское признание:

Родимый, лесной царь нас хочет догнать;  
Уж вот он: мне душно, мне тяжело дышать.  
Невозможно не вспомнить бессмертный афоризм Жуковского: «Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник».

Бесконечные образы, порождаемые «Лесным царем», — они переключаются с отечественным лесным Пантеоном, которому несть конца. Цепочка протягивается от языческой древности и летописных сказаний до наших дней, до шишковской «Угрюм-реки», до прозы Валентина Распутина, Василия Белова и Виктора Астафьева...

Сам Жуковский говаривал, что искру он может извлечь тогда, когда огню его ума ударяется о кремень чужой мысли. Небезынтересно напомнить и то, что Гёте заимствовал мотив баллады из народных тем Гердера. «Лесной царь» Жуковского — вечные стихи, их будут читать всегда. Они действительно пройдут «веков завистливую даль».

\*\*\*

Славу Жуковскому принесло «Сельское кладбище», напечатанное в 1802 году в знаменитом журнале того времени — «Вестнике Европы», — вольный перевод из Томаса Грея, английского поэта, чья элегия — образец сентиментальной лирики, проникнутой любовью к простым людям. Ее переводили и до Жуковского. Восторги современников и последующие отзывы историков литературы нам представляются несколько преувеличенными. Но не будем забывать, что речь идет о допушкинском периоде литературы, когда карамзинские повести были у всех на устах. Начиналось время и нового поэтического стиля. Оказывается, вот как надо и можно свободно и непринужденно писать! Жуковский был в поэзии тем же, чем Карамзин в прозе. Он придал ритмам послушную беглость, музыкальность, определенным и сравнениям изящество доселе неслыханное, обратив внимание на оттенки слов, на полутону, на тончайшие внутренние движения души. Именно с Жуковским связано появление душевного состояния, которое много позднее стало присуще своеобразному романтическому «лирическому герою» (такого понятия тогда еще не существовало).

Переимчивость Жуковского, его умение чужое делать своим играли двойную роль. Поэзия открывала для себя «внутреннего человека» — совсем недавно нечто похожее сделал в прозе Карамзин. Иноземное под пером Жуковского становилось домашним, собственным достижением. Одновременно свое, домашнее вписывалось в контекст мировой литературы. Жуковский продолжил начатое Карамзиным общение с европейскими литературными знаменитостями. Его встречи с Гёте — памятная страница культурных связей. Весь круг его художественных интересов был необычайно насыщен и высок — античность, средние века, древние литературы Индии и Ирана... Еще только мы начали изучать его бесчисленные рисунки — в них всегда присутствует даровитая мастерозитность.

Занимаясь многими культурными ценностями — европейскими и восточными, Жуковский одновременно гордо провозглашал то, что жило в нем всегда, написанное еще в годы войны с наполеоновскими полчищами:

Отчизне кубок сей, друзья,  
О родина святая!  
Какое сердце не дрожит,  
Тебя благословляя?

Еще до явления Пушкина в Жуковском было много гущинианства. Он несомненно заслужил признательность потомства такими стихами, как «Море» (им восхищался Лермонтов), как полюбились вместе с мюзыкой Чайковского «Уж вечер... Облаков померкнули края», такими, как «Царскосельский лебедь», «Толикратов перстень», «Минувших дней очарованье»...

Все мы знаем стихи Пушкина, посвященные Жуковскому. Но будем помнить и другое. Молодой Пушкин, подбирая под столом черновики Василия Андреевича, бросил фразу, которая и сегодня звучит символически: «Что Жуковский бросает, нам еще пригодится». Не худо эти слова нам иногда вспоминать.

Константину Бальмонту казалось, что смысл Жуковского в том, что он создал земный, но красивый мир, наполненный привидениями, бледностью, неясными, умирающими звуками. Нам ближе мнение Белинского о Жуковском, с его гордой мыслью о вечной любви и жизни — «непреходящаясь того, что выражается в преходящих явлениях». Много в Жуковском загадок...

Евгений ОСЕТРОВ

## Жуковский известный и неизвестный

знать. Александрина Воейкова меньше всего думала об этом. Ее увековечили выдающиеся люди времени. Ее образ вдохновлял не только Василия Андреевича, но и И. Козлова, Н. Языкова на создание строф, рожденных в глубинах поэтических сердец. Николаю Языкову она виделась в сиянии ореола:

Огонь ее приветливого взора,  
И на челе избыток стройных дум,  
И сладкий звук речей, и светлый ум  
В любуемся кристалле разговора.

Деятельный век в отличие от восемнадцатого, в котором на поверхности главенствовало дело, умел ценить и любил разговорчиков. Среди последних женщин было не так-то уж и много, и, пожалуй, первая среди них — Александрина — Светлана. Ее письма — красноречивое тому свидетельство.

Время имеет только ему присущие законы. Читая Жуковского, наслаждаясь «пленительной прелестью» его стихов, я одновременно думаю о его поэтическом мире, в котором вечно пребывает та, что внушила благопожелания:

Будь вся жизнь ее светла.  
Будь веселость, как была,  
Дней ее подруга.

Словно из глубин времени отзываются из «Истории одной жизни» подлинными словами Александрины: «Как приятно жить с умным человеком, как делается жизнь легка и как посредственность утомляет». Кто не подпишется под этими словами?

Вспоминаю я также и Николая Рыленкова, богатого поэтическими замыслами, много сделавшего и многого не успевшего. Его мечтаниям, связанным с романом, посвященным Жуковскому, не суждено было осуществиться. Остается только сказать: *бедный певец...*

\*\*\*

О «Лесном царе» говорить трудно. Марина Цветаева в свое время сравнила точный текст подлинника с точным текстом перевода: «Лесного царя» Гёте с «Лесным царем» Жуковского — и сделала вывод: «Вещи равновеликие. Лучше перевести «Лесного царя», чем это сделал Жуковский, нельзя. И не должно пытаться. За столетие давности это уже не перевод, а подлинник. Это просто другой «Лесной царь». Русский «Лесной царь» — из хрестоматий и страшных детских снов». К этому — цветаевскому — можно добавить, что недаром Жуков-